

ХРОНИКИ АНАПЫ
КНИГА 1

ГАВАНЬ

РОЖДЕНИЕ ГОРГИППИИ



ЕЛЕНА СНОУ

Елена Сноу

Гавань. Рождение Горгииппии

«Автор»

2026

Сноу Е.

Гавань. Рождение Горгиппии / Е. Сноу — «Автор», 2026

Грек Алкимах бежит из Милета, оставив жену и дом, — он не знает, кто он и зачем живёт. На чужом берегу, в земле синдов, его встречают холодный песок, враждебность и запах полыни из вещей снов. Единственное, что у него есть, — ледяной амулет матери, который обещает вернуть его «обратно». Чтобы остаться, он должен заплатить: отдать часть себя, пролить кровь и построить общий дом для двух народов. Но смогут ли греки и синды принять друг друга, когда на горизонте уже собираются скифы, а жрец из Пантикапея требует отдельного храма для «истинной» веры? Это история о том, как один человек, даже будучи слабым и сломленным, может стать началом целого города. О том, что дом — это не стены, а память, которую мы передаём. И о том, что камень, если приложить ладонь, до сих пор помнит тепло его рук.

© Сноу Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ОТ АВТОРА	5
ПРОЛОГ	6
ГЛАВА 1. МОРЕ И ПОЛЫНЬ	16
ГЛАВА 2. ДОЧЬ СТАРЕЙШИНЫ	22
ГЛАВА 3. КАМЕНЬ И КРОВЬ	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Елена Сноу

Гавань. Рождение Горгииппии

ОТ АВТОРА

Я живу в Анапе несколько лет. К морю, ветру и пустым набережным в несезон привыкаешь быстро — но кое-что остаётся. Каждый раз, когда я прихожу в музей «Горгиппия», со мной что-то происходит. Не сразу. Где-то между саркофагами и фрагментом древней стены.

В апреле 2026 года я снова туда пришла. День был будний, посетителей почти не было. Я взяла экскурсию — одну из тех, что проходят после заката, когда основная программа заканчивается и музей закрывается для случайных гостей.

В воздухе пахло влажной землёй и холодным камнем. Экскурсовод, пожилой человек с сухим голосом, вёл нас по раскопу. Свет фонарей ложился на песчаник неровными жёлтыми пятнами, и в этом свете древние стены казались не мёртвыми, а спящими. Он рассказывал о синдах и греках, о винодельнях и некрополе, о каменотёсах, чьи имена забыты, но чьи руки до сих пор помнит камень. А потом остановился у фундамента самого старого здания — того, с которого начался город.

— Здесь всё началось, — сказал он. — Один человек положил камень. И камень до сих пор помнит. Помнит руки, которые его коснулись. Помнит тепло, которое в него вложили. И если приложить ладонь, можно почувствовать это тепло. Даже сейчас.

Он помолчал, глядя на серый песчаник, освещённый жёлтым светом.

— Камень не забывает. Он ждёт тех, кто готов слушать. И когда вы уйдёте — он будет ждать дальше. Так было всегда.

Я остановилась у фундамента и на мгновение приложила ладонь к шершавому камню. Он был холодным. Но мне показалось — всего на миг, — что где-то внутри, глубоко, пульсирует тепло. Как будто камень дышал. Или ждал. Или помнил.

И я подумала: вот история, которую никто не рассказал.

Я вернулась домой и начала писать. Эта книга — художественный вымысел, рождённый из музейного фундамента и одного камня. Герои на этих страницах пришли ко мне из тишины раскопа. Я не выдумывала их — я их узнала. Они ждали, чтобы их рассказали.

Это первая книга по времени действия цикла «Анапские хроники». Добро пожаловать в Горгииппию — туда, где всё началось. И где камень до сих пор ждёт тех, кто готов слушать.

Елена Сноу апрель 2026 года

ПРОЛОГ

Алкимах не помнил, когда мать перестала вставать с постели. Казалось, она всегда лежала там, на низком ложе у стены, укрытая выцветшим покрывалом. Комната пахла сушёным чабрецом и чем-то сладковатым — тем особым запахом, который идёт от тела, когда оно уже не борется, а только ждёт.

Ему было двенадцать. Он сидел на табурете у её изголовья и смотрел, как её грудь поднимается и опускается — всё реже, всё тише. За окном кричали чайки, и солнечный свет падал на глиняный пол неровными прямоугольниками. Он держал её руку — худую, прохладную, с выпуклыми синими жилами.

— Мама, — позвал он шёпотом, но она не открыла глаз.

Только когда солнце перевалило за полдень, она пошевелилась. Пальцы слабо сжали его ладонь.

— Ты здесь, — сказала она. Голос был сухим, как лист, но в нём ещё теплилась жизнь.

— Я здесь, — ответил он.

Она медленно повернула голову и посмотрела на него. В её глазах — когда-то тёмных, теперь выцветших — он увидел не страх, а что-то другое. Будто она уже видела то, что скрыто за завесой.

— Под подушкой, — сказала она. — Возьми.

Он засунул руку под подушку и нащупал что-то маленькое, твёрдое, холодное. Вытащил — серый камешек, гладкий, стёртый до блеска, с едва заметным рисунком: круг и точка внутри.

— Что это? — спросил он.

— Амулет, — ответила она. — Он был с моей матерью. И с её матерью. Теперь он твой. Он сжал его в ладони. Камень был ледяным — даже в летний зной, даже от тепла его руки.

— Зачем он мне?

Она улыбнулась — слабо, но с теплотой.

— Он вернёт тебя обратно, — сказала она. — Когда ты потеряешь себя, он найдёт тебя.

— Куда он вернёт?

— Не знаю, — прошептала она. — Но ты поймёшь, когда придёт время.

Она закрыла глаза. Её дыхание стало реже. Он сидел, сжимая холодный камень, и смотрел, как её рука, лежащая в его ладони, медленно остывает. Он не плакал. Он просто сидел и ждал, пока тепло уйдёт из неё навсегда.

Когда её грудь перестала подниматься, он вышел на улицу. Чайки кружили над крышами. Он сжал амулет так сильно, что край впился в ладонь. Камень был ледяным. И он знал: он никогда не сможет его согреть. Или ему казалось.

«Она говорила — вернёт, — подумал он. — Но куда? Куда мне возвращаться, если я даже не знаю, где я?»

Ветер с моря принёс запах соли и водорослей. В этом запахе было что-то, что он не мог объяснить. Что-то, что тянуло его за горизонт. Он сжал амулет сильнее и дал себе слово, что однажды он узнает, что это значит.

Пять лет спустя отец сидел за столом, заваленным свитками и счетами. Он был сух, как старая рыба, и пах так же — чернилами, кожей и деньгами. Алкимаху было семнадцать, и он стоял у двери, сжимая в руке табличку с недописанным стихом.

— Ты опять пишешь, — сказал отец, не поднимая головы. — Вместо того чтобы учиться считать.

— Я умею считать, — ответил Алкимах. — Я хочу писать.

— Писатели умирают голодными, — отрезал отец. — Ты — мой сын. Ты будешь торговать. Это наш род.

— Твой род, — сказал Алкимах. — Я не хочу быть тобой.

Отец поднял голову. Его глаза были такими же холодными, как амулет у Алкимаха за пазухой.

— Тогда убирайся, — сказал он. — Но без моего имени ты никто. Понял?

Алкимах ничего не ответил. Он развернулся и вышел. Он шёл по улицам Милета, мимо знакомых домов, мимо рынка, мимо храмов. Он вышел на берег, где море билось о камни, и сел на холодный песок. Он достал амулет — серый, холодный. Сжал его.

— Почему ты холодный? — спросил он у камня. — Почему я не могу тебя согреть?

Камень молчал. Но где-то в глубине, за горизонтом, он чувствовал: есть место, где он будет тёплым. Он не знал, где это. Но знал, что когда-нибудь он туда поплывёт.

Ветер дул с востока. И в нём, среди запахов моря и рыбы, он уловил что-то другое — горькое, сухое, незнакомое. Он не знал, что это полынь. Но запах остался в его памяти, как обещание.

Ещё через год отец сидел за столом, заваленным счетами. На столе лежал свиток — тот самый, который Алкимах написал ночью. Стихи. О море, о матери, о том, что он хотел бы сказать ей, но не успел. Отец держал свиток в руках, и его пальцы были белыми от напряжения.

— Ты пишешь это вместо того, чтобы учиться считать? — спросил он, не поднимая глаз.

— Я умею считать, — ответил Алкимах. — Я хочу писать.

— Писатели умирают голодными, — отрезал отец. — Ты — мой сын. Ты будешь торговать. Это наш род. Твоя мать верила в мечты, и она умерла. Я не дам тебе умереть нищим.

Алкимах сжал кулаки. Внутри него поднялось что-то, чего он не чувствовал раньше — не гнев, а холодная решимость.

— Она умерла не потому, что верила в мечты. Она умерла, потому что её сердце остановилось. А ты — ты жив, но у тебя нет сердца.

Отец встал. Он был выше, шире в плечах. Он посмотрел на сына так, как смотрят на врага.

— Ты не смеешь говорить так о моей жене. Твоей матери.

— Я говорю о тебе, — сказал Алкимах. — Ты превратил дом в лавку. Ты считаешь не деньги — ты считаешь людей. Мать не могла дышать в этом доме. Я не могу дышать. Я уеду. Когда-нибудь. И ты не сможешь меня остановить.

Он развернулся и вышел, оставив отца со свитком в руках. Он не видел, как отец медленно опустился на стул и долго смотрел на пустой проём двери. Он не слышал, как отец прошептал: *«Я хотел, чтобы ты был сильнее меня. Я ошибся»*.

Алкимах вышел на берег. Море было серым, как всегда. Он достал амулет — холодный. Он сжал его и подумал: *«Я не хочу быть тобой. И я не буду. Я буду самим собой, даже если для этого придётся уйти навсегда»*.

На крыше рыбацкой хижины сидела чайка и смотрела на него одним глазом. Он не знал, почему она привлекла его внимание. Но в её взгляде было что-то древнее, что-то, что он не мог объяснить. Он запомнил это.

Он встретил её на рынке в дождливый день. Она стояла под навесом, разложив ткани — длинные полотна льна, выбеленного до молочной белизны. Вода стекала с края навеса, и она отодвигала тюки, чтобы они не намокли. Её руки были быстрыми и уверенными. Он задержался у прилавка, глядя не на ткани, а на неё.

— Ты что-то ищешь? — спросила она, заметив его взгляд.

— Я ищу ткань, — ответил он, хотя на самом деле не знал, зачем подошёл.

Она усмехнулась:

— Ты смотришь не на ткань, а на меня. Это нечестно. Я продаю ткань, а не себя.

Он покраснел, но не отвёл глаз.

— Прости. Я не хотел тебя смутить. Просто... ты выглядишь так, будто знаешь, куда идёшь. А я не знаю.

Она посмотрела на него внимательнее. В её глазах была не насмешка, а любопытство.

— Меня зовут Эвридика. Я торгую здесь каждый день. Если хочешь узнать, куда идти, спроси. А если нет — купи ткань и иди дальше.

Он улыбнулся. Она была резкой, но в этой резкости была честность.

— Меня зовут Алкимах. Я куплю ткань. Самую лучшую. И, может быть, ты скажешь мне, как найти дорогу к себе.

Она засмеялась — легко, как ветер.

— Это сложный вопрос. Но если ты купишь ткань, я попробую ответить.

Он купил отрез. Они проговорили до вечера. Она рассказала, что торгует с детства, что отец умер, мать болеет. Он рассказал, что его мать умерла, а отец жив, но они почти не говорят. Когда он уходил, она сказала:

— Ты ищешь что-то, чего нет в Милете. Я вижу это. Но если ты не знаешь, что ищешь, ты не найдёшь. Начни с малого. Начни с того, что рядом.

Он вернулся домой с тканью для матери, которой уже не было. Он понял: этот вечер изменил его. Он хотел быть с ней, но он также знал — он не сможет быть с ней, пока не станет тем, кем хочет быть. И он начал планировать побег. Не от отца — к себе.

Он не спал уже третью ночь.

За окном шумело море — то самое, Эгейское, которое он знал с детства и которое сейчас, на рассвете, казалось чужим. Серым. Отчуждённым. Таким же, как голос жены, когда она сказала: «Ты вернёшься». Он ответил: «Нет». И в этом «нет» было всё — и решимость, и трусость, и то, что он не мог назвать словами.

Снизу, с улицы, доносился привычный утренний гул Милета. Кричал петух, звенел колокольчик на шее осла, скрипели колёса — кто-то вёз на рынок утренний груз. Запах свежего хлеба смешивался с вонью рыбной чешуи и оливкового масла. Это был запах дома. Запах, который он покидал.

Алкимах сидел на краю ложа и смотрел на свои руки. Они ещё не знали камня. Не знали работы, которая ждала его там, за морем. Он был в Милете всего лишь купцом, сыном купца, человеком, чьи руки привыкли к папирусу и чернилам, а не к резцу и молоту. Но он чувствовал: они должны научиться. Иначе зачем он вообще плывёт?

На столе лежал амулет. Маленький, серый, стёртый до гладкости. Когда-то он принадлежал его матери. Она дала его ему на смертном одре, когда Алкимаху было *двенадцать*. «Он вернёт тебя обратно», — сказала она. Она не уточнила — куда именно. В Милет? В детство? К ней самой? Он так и не понял. И теперь, глядя на холодный камень, он сомневался: а хочет ли он возвращаться? Может быть, этот амулет должен был не вернуть его, а наоборот — отпустить. Дать ему право уйти.

Он взял амулет в ладонь. Холодный. Всегда холодный, сколько он себя помнил. Ледяной даже в летний зной, даже если сжимать его в кулаке до боли. Только во сне он иногда становился тёплым — в тех странных снах, которые приходили к нему в последний месяц. В тех снах была земля. Не Милет, не каменистый берег Ионии. Другая земля — тёмная, пахнущая чем-то горьким и живым. И камень, лежащий в её глубине, тёплый, как дыхание. Он не видел этот камень, но чувствовал его. Чувствовал, как тот зовёт.

Он вспомнил запах, который уловил на берегу год назад. Горький, сухой, зовущий. Теперь он знал, что это была полынь. Он не знал, где она растёт. Но он знал: там, где она растёт, камень будет тёплым.

Вчера он был на рынке.

Это был прощальный день, хотя никто, кроме него, не знал об этом. Он шёл между прилавков, и знакомые лица смотрели на него — торговцы, которых он знал с детства, соседи, которые кланялись ему, когда он проходил. Они не знали, что он уезжает. Он не сказал никому. Только Эвридике.

Он купил хлеб у старого пекаря, который когда-то давал ему тёплые лепёшки, когда Алкимах был мальчишкой. Он заплатил и хотел уйти, но пекарь остановил его.

— Ты что-то невесел, Алкимах, — сказал он. — Что случилось?

— Всё хорошо, — ответил Алкимах. — Просто думаю.

— Думать — это хорошо, — сказал пекарь. — Но не слишком много. Иногда нужно просто делать.

Алкимах кивнул и пошёл дальше. Он думал о словах пекаря. «Иногда нужно просто делать». Может быть, он прав. Может быть, он слишком много думает и слишком мало делает. Но он не мог перестать думать. Он думал о том, что оставляет. О доме, где каждая стена знала его голос. О дворе, где он играл в детстве. О жене, которая ждала его каждую ночь.

Он остановился у прилавка, где продавали амфоры. Глиняные, обожжённые, с узкими горлами. Он взял одну в руки — она была тяжёлой, холодной, пахла глиной и огнём. Он подумал о том, что скоро он будет жить среди таких же амфор. Среди глины, камня и соли. Среди того, что не знает его.

Он поставил амфору обратно и пошёл домой.

Дом был тихим.

Эвридика сидела у окна и пряла шерсть. Она не подняла головы, когда он вошёл. Она знала, что он уходит. Она знала это уже несколько дней, с тех пор как он сказал ей. Она не плакала. Она просто сидела и пряла, и в этом молчании было больше слов, чем в любых речах.

— Я уезжаю завтра, — сказал он.

— Я знаю, — ответила она.

— Я не знаю, когда вернусь.

— Ты не вернёшься, — сказала она. — Я знаю это. И ты знаешь.

Он подошёл к ней и сел рядом. Она не отстранилась, но и не повернулась к нему.

— Почему ты не берёшь меня с собой? — спросила она. — Я сказала, что могу плыть. Я сказала, что не боюсь.

— Я знаю, — сказал он. — Но я боюсь.

— Чего?

Он помолчал. Он смотрел на её руки, которые продолжали прясть шерсть, ровно, без остановки.

— Я боюсь, что ты увидишь меня слабым, — сказал он. — Я боюсь, что когда я не справлюсь, ты увидишь это. И я боюсь, что тогда ты перестанешь меня уважать.

Она остановилась. Повернулась к ним. В её глазах была не злость — боль.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты слаб? — сказала она. — Я знаю. Я знаю, что ты боишься. Я знаю, что ты сомневаешься. Я знаю, что ты не знаешь, кто ты. Но я всё равно люблю тебя. Я люблю тебя не за силу. Я люблю тебя за то, что ты пытаешься.

Он хотел сказать что-то, но слова застряли в горле. Она встала, подошла к столу и взяла амулет.

— Это амулет твоей матери, — сказала она. — Ты носишь его всю жизнь. Он холодный. Всегда холодный. Но если ты согреешь его своим теплом — он станет тёплым. Ты понимаешь, что я говорю?

— Я понимаю, — сказал он.

— Тогда согрей его, — сказала она. — Найди то, что согреет тебя. И тогда он станет тёплым. И ты вернёшься. Не в Милет. К себе.

Она положила амулет на стол и вышла. Алкимах остался сидеть у окна. Он смотрел на море и думал о том, что она сказала.

«Если ты согреешь его своим теплом — он станет тёплым».

Он взял амулет и сжал его в ладони. Холодный. Как всегда. Но на мгновение ему показалось, что он чуть нагрелся.

Или ему просто хотелось так думать.

Сон пришёл сразу.

Он стоял на берегу. Не на том, который знал, — на чужом. Земля была тёмной, почти чёрной, и от неё шёл пар. Воздух пах горькой травой — он никогда не чувствовал такого запаха, но знал: это полынь. Запах был сухим, как выжженная солнцем земля, и одновременно живым, как дыхание. Где-то впереди, на холме, лежал камень — огромный, серый, но не холодный. Он источал тепло, и это тепло тянуло к себе, как рука матери.

Алкимах пошёл к нему.

С каждым шагом трава становилась выше, жёстче, и он чувствовал, как стебли режут босые ноги. Но он не мог остановиться. Камень звал — не звуком, не словом, а тем особым теплом, которое он чувствовал всем телом. Он рос с каждым шагом, заполнял собой горизонт, становился ближе, больше, живее.

Когда он наконец коснулся его, камень ответил — не голосом, а дрожью. Как будто внутри билось сердце. Огромное, древнее, живое. И оно узнало его.

Алкимах приложил ухо к камню и услышал ритм — ровный, глубокий, как биение сердца. Не его сердца. Земли. И голос — уже не чувство, а почти слова:

«Мы ждали тебя. Мы знали, что ты придёшь. Камни помнят тех, кто их ищет».

Он убрал руку. На ладони осталось красное пятно — не кровь, а след тепла. Пятно пульсировало, как открытая рана. Он посмотрел на свои пальцы — они были чисты. Но тепло осталось.

Он проснулся с этим теплом в ладони. И впервые за долгое время он знал: он не выдумал это. Это было реально.

Он проснулся на рассвете.

Солнце только поднималось над морем, и комната была залита розовым светом. Амулет лежал на столе, серый, холодный. Но на ладони всё ещё оставалось тепло — то самое, из сна. Он сжал руку, пытаясь удержать его, но тепло ускользало, таяло, как вода.

Он сел, провёл ладонью по лицу. Запах полыни всё ещё стоял в ноздрах — горький, чистый, зовущий. Он не знал, что это за трава. Не знал, что его ждёт там, за морем. Знал только одно: он уже плывёт. Даже если корабль останется в гавани.

Он встал, надел хитон, взял амулет и положил его за пазуху — ближе к сердцу. Камень был холодным, но на мгновение Алкимаху почудилось, что тот чуть нагрелся. Всего на миг. А может быть, ему просто показалось.

Он подошёл к двери и остановился. На мгновение ему захотелось вернуться, взять письмо, разорвать его, бросить в очаг. Но он не сделал этого. Вместо этого он достал амулет из-за пазухи и прижал его к губам — холодный камень обжёг кожу.

— Прощай, — сказал он тихо. — Прощай, Милет.

В порту его ждал корабль.

Он вышел из дома, не оборачиваясь. Письмо под порогом осталось лежать. На крыше сидела чайка и смотрела на него одним глазом. Она не кричала — просто смотрела. И в этом взгляде было что-то древнее, что-то, что он не мог объяснить.

«Она тоже знает, — подумал он. — Она всё знает. И она не осудит».

Он пошёл к морю.

Над ним, над крышей его дома, чайка расправила крылья и полетела следом. Низко над водой, как будто провожала его до границы неба.

Корабль пах смолой и рыбой. Матросы уже поднимали парус, кормчий проверял снасти. Алкимах взойшёл на борт, встал у перил и посмотрел на город. Милет белел на холме — белый, как кость, как сон, который он оставлял за спиной. Он не знал, вернётся ли сюда когда-нибудь. Он даже не был уверен, что хочет вернуться.

Ветер надул парус, и корабль отошёл от причала.

Алкимах стоял на носу и смотрел на восток. Там, за горизонтом, лежала земля, которую он никогда не видел. Земля, пахнувшая полынью. Земля, где камень был тёплым.

Он сжал амулет в ладони. Холодный.

Но на мгновение ему почудилось, что он чуть нагрелся — ровно настолько, чтобы он мог поверить, что это не просто игра воображения.

«Ты пришёл», — сказал голос из сна.

Он сжал амулет сильнее.

«Я здесь».

Корабль уходил в море. Милет таял за кормой. Чайка летела следом — низко над водой, как будто провожала его до границы неба.

Амулет под хитоном оставался холодным. Но где-то глубоко, под холодом, уже начинало зарождаться тепло — слабое, как искра, которую нужно раздуть.

Он знал: однажды камень станет тёплым.

Когда он найдёт своё место.

Эвридика проснулась от тишины.

В доме было слишком тихо. Не слышно было его дыхания, не скрипела циновка, когда он вставал. Она протянула руку влево — и наткнулась на пустоту. Холодную, уже успевшую остыть. Она открыла глаза.

Солнце только начинало подниматься над морем, и в комнате было серо, как всегда на рассвете. Она села, прислушалась. Ничего. Только петухи на улице, только скрип колёс, только голос разносчика, который звал покупателей. Но в доме — тишина. Тишина, которая была громче любого звука.

Она встала, накинула хитон и вышла в главную комнату. Стол был пуст. Очаг не топился. На столе лежал свёрнутый свиток — его почерк она узнала сразу. Тот же чёткий, каллиграфический, которым он писал счета и письма. Но это письмо было другим. Она взяла его, и пальцы её дрогнули.

Она развернула свиток и прочитала.

«Эвридика. Я уезжаю. Я не знаю, когда вернусь — может быть, никогда. Я не могу оставаться здесь, потому что я не знаю, кто я. Я должен найти себя. Я оставляю тебе дом и всё, что у нас есть. Ты не должна ждать меня. Прости, что не сказал этого в лицо. Прости, что боюсь. Но я боюсь не тебя — я боюсь, что если останусь, то никогда не пойму, зачем живу. Ты была хорошей женой. Лучшей, чем я заслуживал. Но я не могу быть тем, кого ты любишь, потому что я сам себя не люблю. Прощай. Алкимах.»

Она прочитала это один раз. Потом второй. Потом третий, но слова перестали иметь смысл. Она сжала свиток в руках, и бумага хрустнула. Внутри неё поднялась волна — сначала холод, потом жар, потом что-то, чему она не могла дать имя.

Она не заплакала. Она стояла, глядя в одну точку, и чувствовала, как мир вокруг неё рушится. Не громко, не с треском — тихо, как песок, который утекает сквозь пальцы.

Она вышла на порог и посмотрела на море. Оно было серым, спокойным, равнодушным. Чайка сидела на крыше соседнего дома и смотрела на неё одним глазом. Эвридика сжала письмо в кулаке, подошла к очагу и бросила его в огонь. Бумага вспыхнула, скрутилась, почернела. Она смотрела, как пепел поднимается вверх, и думала: *«Он ушёл. Он оставил меня. Он оставил всё»*.

Она села на пол у очага и обхватила колени руками. Слезы пришли не сразу — они пришли через час, когда она поняла, что он не вернётся. Не сегодня, не завтра, никогда. Она плакала тихо, без звука, как плачут женщины, которые привыкли быть сильными.

Через день она вышла на рынок. Люди смотрели на неё — они знали, что Алкимах уехал. Кто-то шептался, кто-то сочувствовал, кто-то злорадствовал. Она не обращала внимания. Она купила хлеба, рыбы, оливок. Вернулась домой, приготовила ужин на двоих, поставила тарелку для него. Посидела, посмотрела на пустое место, потом убрала тарелку.

Через месяц она перестала ждать.

Прошёл год. Или два. Эвридика перестала считать.

Она сидела у окна, и перед ней стояла прялка, но шерсть лежала нетронутой. Солнце падало на глиняный пол, и пылинки танцевали в его лучах. Она смотрела на них, но не видела. Она думала о том, как легко человек оставляет след в чужой жизни — и как трудно его стереть.

Она не ждала его. Она знала, что он не вернётся. Но иногда, когда ветер дул с востока, она ловила себя на том, что прислушивается к шагам на улице. Это был не он. Это был кто-то другой. И каждый раз она чувствовала не разочарование, а странное облегчение. Как будто она боялась, что если он вернётся, ей придётся снова выбирать — ждать или не ждать.

Она взяла письмо, которое когда-то сожгла. Она помнила его наизусть. *«Я уезжаю. Я не знаю, когда вернусь...»* Она не плакала тогда. Она плакала потом — ночью, когда никто не видел. А теперь она больше не плакала. Она просто жила.

Она торговала тканями, как и раньше. Привычные движения рук, звон монет, голоса покупателей — всё это создавало шум, который заглушал мысли. Иногда она ловила себя на том, что улыбается — не ему, а просто дню, солнцу, удачной сделке. Она поняла, что может быть счастлива и без него. И это было самое странное открытие.

Однажды, когда она раскладывала товар на рынке, к ней подошёл молодой человек. Он был невысок, с тёмными волосами и живыми глазами. Он спросил, сколько стоит отрез льна. Она ответила. Он купил. А потом спросил, не хочет ли она выпить с ним вина.

Она посмотрела на него. Он не был похож на Алкимаха. В нём не было той тени, которая всегда лежала на лице её мужа. Этот человек был лёгким, как утренний ветер. Она подумала: *«Почему бы и нет?»*

Они сидели в таверне, и он рассказывал о своих путешествиях. Он был купцом, плавал в Египет и на Крит. Он говорил о море, о звёздах, о чужих землях. Она слушала и думала о том, что мир большой, и в нём есть место для новой жизни. Она не любила его — но она чувствовала, что может снова дышать.

Вечером, когда они прощались, он взял её руку и сказал:

— Я уезжаю через три дня. Я не знаю, когда вернусь. Но если ты захочешь — я возьму тебя с собой.

Она замерла. Эти слова были почти дословным повторением того, что сказал ей Алкимах в их последнюю ночь. Но в голосе этого человека не было страха — только приглашение.

Она улыбнулась и ответила:

— Я не поеду. Но спасибо, что предложил.

Он не настаивал. Он просто кивнул и ушёл.

Эвридика осталась у моря. Она не хотела бежать. Она хотела остаться — и быть собой. Она поняла, что дом — это не место, где ты живёшь. Это место, где ты можешь не убегать.

Она смотрела на закат и думала: *«Я не простила его. Но я перестала ждать. И это — моя сила»*.

Прошло ещё два года. Эвридика перестала считать дни, перестала вслушиваться в шаги на улице, перестала ждать. Она просто жила.

Её лавка разрослась — теперь она торговала не только льном, но и шерстью, крашеными тканями, которые привозили из Милета и даже из далёкого Египта. Она научилась торговаться, распознавать обман, чувствовать цену. Её руки стали увереннее, голос — твёрже. Люди на рынке называли её «Эвридика из дома ткачей» — не как жену Алкимаха, а как самостоятельную женщину, которая знает своё дело.

Она вставала затемно, раскладывала товар, торговалась, смеялась с покупателями, спорила с другими купцами. К вечеру она возвращалась домой, ужинала одна, зажигала масляную лампу и дошивала то, что не успела днём. Иногда она ловила себя на том, что напевает — старую мелодию, которую пела её мать. И не сразу понимала, что поёт.

Это была хорошая жизнь. Не лёгкая — но хорошая.

Однажды весной, когда море было особенно синим и чайки кричали громче обычного, она стояла у своего прилавка и раскладывала новый отрез — тёмно-синий, как ночное небо. Ткань была дорогой, крашенной в далёких землях. Она провела по ней пальцем, чувствуя прохладу и гладкость.

— Красивая ткань, — сказал голос рядом. — Сколько?

Она подняла глаза. Перед ней стоял мужчина. Не молодой, но и не старый — лет сорока, с сединой на висках и внимательными глазами. Одет он был просто, но со вкусом. На поясе висел кошель, в руке — деревянная трость, которой он постукивал по земле, как будто считал шаги.

— Десять драхм за локоть, — ответила она.

— Дорого.

— Ткань стоит того. Посмотри — ни одной бракованной нити. Краска не линяет. Тысяча ударов солнца, и она останется такой же синей, как море.

Мужчина усмехнулся. Он взял край ткани, потёр между пальцами, понюхал.

— Хорошая работа. Ты сама ткала?

— Торгую. Ткут другие. Я их выбираю.

— Ты знаешь толк, — сказал он и назвал цену чуть ниже её запроса. Они поторговались, сошлись на середине, и он заплатил, отсчитав монеты с лёгкостью человека, который привык держать в руках деньги.

Он убрал ткань в сумку, но не ушёл. Остановился, посмотрел на неё.

— Я здесь проездом. Из Александрии. Торгую папирусом и пряностями. У меня есть дело в Милете, но я ищу... спутницу. Не для работы. Для разговоров. Ты выглядишь как женщина, которая умеет слушать.

Эвридика усмехнулась.

— А ты как мужчина, который умеет предлагать незнакомкам путешествия.

Он улыбнулся в ответ — открыто, без тени.

— Я не предлагаю тебе уехать. Я предлагаю тебе выпить со мной вина и рассказать, почему ты улыбаешься, глядя на море, но не идёшь к нему.

Она посмотрела на море — и правда, оно было синим и зовущим. Чайки кружили над водой. Где-то вдаль, за горизонтом, лежали земли, которых она никогда не видела. Она вспом-

нила, как Алкимах смотрел на восток, как говорил о новых землях. Она тогда не поняла его. Теперь понимала.

— Хорошо, — сказала она. — Одно вино. Но я не поеду с тобой.

— Я и не прошу.

Они сидели в таверне у причала. Он рассказывал об Александрии, о людях, которые говорят на многих языках, о домах с плоскими крышами, о рынках, где пахнет корицей и шафраном. Она слушала и чувствовала, как внутри неё что-то оттаивает. Не желание уехать — а понимание, что мир большой, и она может выбирать.

Он взял её за руку — легко, почти невесомо.

— Я вижу, что ты не ждёшь кого-то, — сказал он. — Ты просто ищешь. И это хорошо. Искать — значит быть живой.

Она не отдернула руку. Посмотрела на его пальцы — сильные, с мозолями от весла, не от пера.

— Ты прав, — сказала она. — Я не жду. Я нашла себя. И это стоит больше, чем любой мужчина.

Он улыбнулся и отпустил её руку.

— Тогда я не буду тебе мешать. Ты — редкая женщина, Эвридика. Если когда-нибудь захочешь увидеть мир — ты знаешь, где меня найти. Я буду в Милете до конца месяца.

Он встал, заплатил за вино и ушёл. Она осталась сидеть у окна, глядя на море. Ветер дул с востока, и она чувствовала знакомый запах полыни — но теперь он не вызывал боли. Только лёгкую грусть, как память о давнем сне.

Она поняла: она не ждёт Алкимаха. Она не ждёт никого. Она просто живёт — и это достаточно.

Вечером она вернулась домой, зажгла лампу и села за прялку. Шерсть была мягкой и тёплой. Она перебирала нити, и в этом движении была тишина, которую она научилась любить.

«Я не хочу быть ничьей женой, — подумала она. — Я хочу быть собой. И теперь я знаю, что это возможно».

Она улыбнулась и продолжила прясть. За окном шумело море — то самое, которое когда-то унесло её мужа. Но теперь она не чувствовала ни горечи, ни обиды. Только покой.

Над крышей её дома сидела чайка и смотрела на неё одним глазом.

Эвридика села за стол поздним вечером. Свеча догорала, и её свет падал на чистый лист папируса. Она держала перо в руке и смотрела на пустой лист. Она не знала, зачем пишет. Он никогда не получит это письмо. Но ей нужно было написать его.

Она начала:

«Алкимах. Я не знаю, жив ли ты. Я не знаю, читаешь ли ты это. Я даже не знаю, куда его отправить. Но я должна сказать то, что не сказала тогда.

Ты ушёл. Я не виню тебя. Я злилась — долго, почти год. Но потом я поняла: ты ушёл не от меня. Ты ушёл от себя. И я не могла тебя удержать, потому что ты сам себя не держал.

Я не прошу тебя возвращаться. Я не жду тебя. Я просто хочу, чтобы ты знал: я живу. Я торгую. Я смеюсь. Я бываю счастлива. Иногда, когда ветер дует с востока, я чувствую запах полыни. Я не знаю, что это, но я думаю о тебе.

Ты говорил, что ищешь место, где будешь тёплым. Я надеюсь, ты нашёл его. Я надеюсь, ты нашёл себя. Я надеюсь, ты больше не холодный камень.

Прощай. Я не жду тебя. Но я помню тебя. Эвридика.»

Она посмотрела на письмо. Потом свернула его, перевязала тесёмкой и положила в сундук, где хранила немногие вещи из их общей жизни. Она никогда не отправит его. Но внутри неё стало легче.

Ветер с востока качнул занавеску. Чайка на крыше крикнула — один раз, коротко. Эвридика не подняла головы. Она просто сидела, глядя на море, и знала: она отпустила его. Не его — себя.

ГЛАВА 1. МОРЕ И ПОЛЫНЬ

Корабль вошёл в бухту на рассвете.

Но чтобы понять, как он оказался здесь, нужно вернуться на три дня назад.

Три дня. Именно столько длилось плавание от Милета до этой бухты. Для кормчего Фокида это был привычный маршрут, но для Алкимаха каждый час становился испытанием. Он стоял на носу, вцепившись в перила, и смотрел, как берег Ионии тает за кормой. Сначала исчезли белые стены Милета, потом холмы, потом сама земля — осталась только вода, бесконечная и равнодушная.

Первый день прошёл в молчании. Алкимах почти не говорил с матросами — они были заняты, да и он не хотел мешать. Только старый кормчий Фокид иногда подходил к нему, чтобы удостовериться, что пассажир не страдает морской болезнью.

— Ты как? — спросил он на второй день, когда ветер усилился и волны стали выше.

— Держусь, — ответил Алкимах.

— Это хорошо. Но ты слишком много смотришь в воду. Море не любит, когда на него слишком долго смотрят. Оно начинает казаться бездной.

— А что оно любит? — спросил Алкимах.

— Оно любит, когда его уважают. Когда не боятся, но и не пытаются покорить. — Фокид усмехнулся, обнажив щербатые зубы. — Я плаваю здесь двадцать лет. Море редко говорит, но когда говорит — лучше слушать.

Алкимах хотел спросить, что именно говорит море, но не стал. Он просто кивнул и снова уставился на горизонт.

На третий день поднялся ветер. Волны стали выше, били в борт, и корабль качало так, что Алкимах едва держался на ногах. Матросы суетились, убирали паруса, кричали друг другу. Фокид стоял у руля, спокойный, как скала, и правил судно сквозь шторм.

— Держись! — крикнул он Алкимаху. — Это не буря, просто бриз! Боишься?

— Боюсь, — честно ответил Алкимах.

— Хорошо. Страх — это хорошо. Он держит тебя в живых. — Фокид усмехнулся. — А я видел таких, кто не боялся. Они утонули первыми.

Алкимах сжал перила и смотрел на волны, которые вздымались перед ним, как живые стены. Вода была тёмной, почти чёрной, и в ней отражалось серое небо. На мгновение ему показалось, что он видит своё отражение в воде — не лицо, а что-то другое. Тень, которая ждала его там, за горизонтом.

Внезапно огромная волна накрыла нос корабля. Алкимах потерял опору, его швырнуло о борт, он ухватился за канат, но руки скользили. Он уже почти отпустил, когда почувствовал — амулет под хитоном на мгновение стал тёплым. Не горячим, не ровным — всего на секунду, но достаточно, чтобы он нашёл в себе силы перехватить канат и выкарабкаться на палубу.

Шторм стих так же внезапно, как и начался. Алкимах, мокрый и дрожащий, стоял у перил и смотрел на восток. Там, в серой дымке, начинала проступать земля. Сначала тонкая полоска, потом холмы, потом бухта.

— Мы приплыли, — сказал Фокид, подходя к нему. — Видишь? Это Синдская гавань. Ну, пока ещё не город — просто берег. Но ты сделаешь из него город. Я знаю.

Алкимах посмотрел на кормчего. В его глазах была такая уверенность, что он не решился спросить, откуда тот знает. Он просто кивнул и снова посмотрел на берег. И в этот момент он впервые почувствовал — не умом, а всем телом, — что приплыл не просто на новую землю. Он приплыл домой.

Алкимах стоял на носу и смотрел на восток, туда, где небо встречалось с водой в серой, ещё не тронутой солнцем полосе. Бухта открывалась перед ним медленно, как занавес, который раздвигают невидимые руки. Сначала — узкий проход между каменными грядами, потом — широкая гладь воды, защищённая с обеих сторон холмами. Вода здесь была зелёной и прозрачной, как стекло. На дне виднелись камни, водоросли, стайки рыб, уходящих от тени корабля. А над водой — холмы. Они поднимались полого, покрытые жёсткой, выгоревшей на солнце травой. Кое-где темнели пятна кустарника, и над одним из холмов поднимался дым — тонкий, почти невидимый, но живой. Значит, там были люди. И они уже проснулись.

Алкимах смотрел на это место, и внутри него что-то дрожало. Не страх — предчувствие. Как будто он уже был здесь. Не в этой жизни — в той, которую не помнил. Он сжал перила, и дерево, тёплое от утреннего солнца, ответило ему теплом.

— Красиво, — сказал он тихо, не оборачиваясь.

Фокид, стоявший за спиной, усмехнулся:

— Это просто берег. Но он будет твоим, если ты захочешь.

Ветер дул с берега — сухой, горьковатый, незнакомый. Он был полон запахов, которых Алкимах не знал: травы, растущей на сухих склонах, дыма от очагов, сложенных не по-гречески, и ещё чего-то — тёплого, густого, как дыхание спящей земли. Он вдохнул глубже, пытаясь разобрать этот запах, и почувствовал, как под рёбрами что-то дрогнуло. Будто сердце отозвалось на незнакомый зов.

Он узнал этот запах. Полынь. Та самая, из сна.

Воспоминание пришло внезапно: он стоял на чужом берегу во сне, трава резала босые ноги, а камень на холме ждал его. Там тоже пахло полынью — горькой, сухой, зовущей. Алкимах закрыл глаза на мгновение и позволил этому запаху войти в себя. Он не знал, что это за трава. Не знал, что его ждёт там, за этим берегом. Знал только одно: он уже плыл к этому запаху. Он шёл за ним. И теперь он здесь.

Он вдохнул снова — глубже, до головокружения, — и на мгновение ему показалось, что он слышит голос: не слова, а чувство. *Ты пришёл.* Или ему просто показалось. Но он запомнил это ощущение.

На мачте, над самым парусом, сидела чайка. Она смотрела на берег одним глазом, не двигаясь, словно ждала чего-то. Алкимах заметил её, но не придавал значения — чайки всегда сидят на мачтах. Он не знал, что эта чайка будет сидеть здесь и через день, и через месяц, и через много лет. Он не знал, что она помнит всё.

Корабль, на котором он плыл, назывался «Алкиона». Он был старым, но крепким — торговым судном с одним рядом вёсел и прямым парусом из льняной ткани, пропахшей смолой и солью. Корпус был выкрашен в тёмно-коричневый цвет, местами облупившийся, но доски держались надёжно — Фокид знал своё дело. На палубе громоздились амфоры с оливковым маслом и вином, тюки с шерстью и льняными тканями, несколько бронзовых котлов, связанных верёвками. Всё это Алкимах вёз для обмена — товар, на который он надеялся получить землю.

Матросов было двенадцать. Алкимах запомнил их лица за три дня пути, хотя не все из них удостоили его словом.

Был Ликон — старый моряк, который плавал с Фокидом двадцать лет. Он был молчалив, с обветренным лицом и руками, покрытыми шрамами от канатов. Он не смотрел на море — он смотрел на горизонт, как будто ждал чего-то, чего не видели другие. Когда Алкимах спросил его, что он там видит, Ликон ответил: «Свою смерть. Она всегда там, на горизонте. Но я не боюсь её. Море давно могло забрать меня, но не забрало. Значит, я ещё нужен. Или просто не пришло время».

Был Феокл — молодой грек, который бежал из дому из-за долгов. Он постоянно переспрашивал Алкимаха, правда ли там, куда они плывут, есть земля, которую можно взять. Алкимах каждый раз отвечал: «Не знаю. Но мы попробуем». Феокл смотрел на берег с такой надеждой, что Алкимах отводил глаза. Он знал: этот парень не просто ищет землю. Он ищет прощение. Он ищет шанс начать заново. И Алкимах молился, чтобы этот шанс пришёл к нему.

Был Теон — раб, которого выкупил Фокид. Он почти не говорил, но когда он смотрел на море, в его глазах была такая надежда, что Алкимах не мог на это смотреть без боли. Он знал: этот человек ищет свободу так же, как он сам ищет себя. Теон стоял у борта, сжав поручни, и смотрел на землю, которая вырастала из воды. Его руки дрожали. Он не плакал — он давно разучился плакать. Но Алкимах видел, как его пальцы впиваются в дерево, как будто он боялся, что земля исчезнет, если он моргнёт.

И были другие — те, чьи имена он не запомнил. Но он запомнил их руки, их голоса, их запах. Запах моря и пота, смолы и рыбы. Запах пути.

Позади, на корме, возились матросы. Говорили они на смеси греческого и фракийского, перекрикивались, смеялись, ругались. Пахло от них смолой, потом и рыбой — запах, который Алкимах уже почти не замечал. Только когда ветер менял направление, он ударял в нос с новой силой, напоминая, что он всё ещё на корабле, всё ещё в пути, всё ещё не на месте.

Корабль скользил по зелёной воде, разрезая её носом, как ножом. Киль мягко шуршал по мелким камням на дне — вода здесь была прозрачной, и Алкимах видел, как тени рыб уходят от приближающегося судна. Он смотрел вниз, и ему казалось, что он видит не только дно, но и что-то глубже — тени, скользящие там, куда не доставал свет. Но это, наверное, просто усталость. Три дня в море, три ночи без сна — глаза начинают играть.

Берег приближался. Сначала — тонкая полоска на горизонте, серая, почти неразличимая. Потом — зелёные холмы, поднимающиеся над водой. Потом — бухта, защищённая каменной грядой, и дым очагов за ней. Дым поднимался к небу тонкими струйками и таял в утреннем воздухе. Значит, там жили люди.

Алкимах сжал пальцами перила. Дерево было шершавым, тёплым от утреннего солнца. Он думал о том, что оставил.

Дом с плоской крышей, где он прожил тридцать два года, — теперь он вспоминал его не как место, а как запахи. Запах старого дерева, которое нагревается на солнце. Запах чернил, которым отец писал счета. Запах шерсти, которую пряла Эвридика по вечерам. Запах её кожи, когда она сидела рядом. Он закрыл глаза на мгновение, и эти запахи накрыли его — тёплые, знакомые, ушедшие. Он открыл глаза, и перед ним была чужая земля.

О жене, которая не захотела плыть. О письме под порогом. О том, что он, может быть, никогда не вернётся.

Он не знал, правильно ли он сделал. Но когда он сжал амулет, тот был холодным. И в этом холоде он почувствовал правду: он должен был уйти. Не потому что не любил. А потому что не мог оставаться тем, кем был.

Но когда корабль вошёл в бухту, он почувствовал нечто другое. Земля, которая лежала перед ним, не была просто землёй. Она была живой. Он чувствовал это — как чувствуют тепло, исходящее от тела, которое спит рядом. Она дышала. Медленно, глубоко, как человек, который только что проснулся.

Он снова достал амулет. Камень был холодным, но когда он сжал его в ладони, ему показалось, что холод стал чуть мягче. Не тёплым — просто менее острым, как будто лёд начал таять. Или как будто рука привыкла. Он не знал. Но он запомнил это ощущение.

Корабль коснулся дна. Заскрипели доски. Матросы спрыгнули в воду — вода была по колено, холодная, но не ледяная, — и потянули канаты, закрепляя судно у песчаного берега. Алкимах перелез через борт и ступил на землю.

Песок скрипнул под сандалиями — холодный, влажный после ночного отлива. Он сделал шаг. Ещё шаг. И почувствовал, как под ногами что-то дрогнуло — не землетрясение, не толчок, а едва заметная вибрация, как будто он наступил на спящее тело. Он замер, прислушиваясь к этому ощущению. Оно не исчезало — оно росло, поднималось от ступней к коленям, к груди, и там, под рёбрами, встретилось с тем самым теплом, которое он чувствовал во сне. Как будто земля узнала его. Как будто она говорила: *я тебя помню*.

Он стоял так долго, что матросы начали переглядываться. Фокид подошёл к нему и тихо спросил:

— Всё в порядке?

— Да, — ответил Алкимах. — Просто... земля. Она тёплая.

— Песок всегда тёплый на рассвете, — сказал Фокид.

— Нет. — Алкимах покачал головой. — Не песок. Земля. Она живая.

Фокид посмотрел на него, как смотрят на человека, который говорит странные вещи, но не хотят спорить.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда пойдём, поздороваемся с теми, кто здесь живёт.

Алкимах кивнул и пошёл за ним. Но он ещё долго чувствовал эту вибрацию под ногами — как будто земля продолжала дышать.

Пока Алкимах стоял, вглядываясь в берег, матросы высыпали на песок. Они смеялись, хлопали друг друга по плечам, кричали что-то на фракийском. Феокл спрыгнул с борта первым и упал на колени, касаясь руками земли. Он не молился — он просто прикасался, как будто хотел убедиться, что она настоящая. Теон сошёл последним. Он стоял у воды, не двигаясь, и смотрел на холмы. Его лицо было непроницаемым, но Алкимах видел: он плакал. Тихо, без звука. Слезы текли по его щекам, и он не вытирал их.

Ликон подошёл к Теону и положил руку ему на плечо. Старый моряк ничего не сказал — он просто стоял рядом, пока тот не перестал плакать. Потом они вместе пошли вверх по берегу, туда, где уже собирались люди.

На берегу уже собирались люди.

Сначала Алкимах увидел только тени — они двигались за дымом, неясные, тревожные. Потом дым рассеялся, и он увидел их лица. Там были мужчины, женщины, дети, старики. Они стояли плотной группой, и в их позах читалось напряжение. Кто-то держал нож, кто-то — палку, кто-то просто сжимал кулаки. Они не знали, кто эти чужаки. И они боялись.

Они стояли у самой воды — мужчины в грубых шерстяных куртках, подпоясанных кожаными ремнями, с бронзовыми бляхами на поясах. Женщины носили длинные тёмные платья, перехваченные широкими поясами, с вышивкой на рукавах. У некоторых на шее висели бронзовые или каменные амулеты — круги, петли, звериные головы. Дети держались за подолы матерей и смотрели широко раскрытыми глазами.

Их было около двадцати. Они не выглядели враждебными, но и не дружелюбными. Просто смотрели. Так смотрят на чужаков, которые пришли неизвестно зачем.

Шёпот пробежал по рядам. Кто-то что-то сказал на своём языке — коротко, резко. Другой ответил. Женщина прижала ребёнка к себе. Старуха, стоящая впереди, сплюнула на песок. Это был не просто жест — это было заявление. Она не хотела их здесь.

Но не все смотрели одинаково. В толпе была старуха — сгорбленная, с лицом, изрезанным морщинами, как старая кора. Она стояла чуть поодаль, опираясь на палку, и её глаза были холодными, как камни на дне реки. Когда Алкимах прошёл мимо, она сплюнула в его сторону. Густая, белая слюна упала на песок в двух шагах от его ног. Она не сказала ни слова — просто плюнула и отвернулась.

Алкимах остановился на мгновение. Он почувствовал, как внутри что-то сжалось — не страх, а что-то другое. Он понял: не все здесь рады ему. Не все готовы его принять. И это будет стоить ему больше, чем он думал.

Он хотел обойти старуху стороной, но что-то заставило его остановиться. Он встретил её взгляд — холодный, враждебный, полный боли. И в этом взгляде он увидел не злость. Он увидел страх. Тот же страх, который он сам носил в себе. Он кивнул ей — коротко, почти незаметно. И пошёл дальше.

Фокид, шедший рядом, тихо сказал:

— Не обращай внимания. Она старая. Она боится.

— Я не обращаю, — ответил Алкимах. — Но я запомню.

Он пошёл дальше. Но взгляд старухи ещё долго стоял у него перед глазами — холодный, оценивающий, как приговор.

Среди синдов выделялся один — высокий, с седой бородой и деревянным посохом в руке. Он стоял впереди всех, опираясь на посох, и его глаза — светлые, почти прозрачные — смотрели на Алкимаха без страха и без любопытства. Просто смотрели. Так смотрит камень на волну, которая бьётся о него сотни лет.

Рядом со старейшиной стояла женщина. Молодая, с тёмными волосами, заплетёнными в тугую косу, и светлыми глазами — такими же, как у старейшины. Она была одета в длинный тёмный хитон без украшений, но держалась прямо и гордо. Она смотрела на Алкимаха с интересом — не враждебным, не дружелюбным, а внимательным. Как будто она уже знала, кто он такой, и ждала, что он скажет.

Их взгляды встретились. На мгновение — не больше. Но в этом мгновении было что-то, чего Алкимах не мог объяснить. Она смотрела на него не как на чужака. Она смотрела на него как на человека, который что-то ищет. Так же, как она сама. Он не знал, откуда это знание пришло к нему. Но он знал: она тоже ищет. И, может быть, именно поэтому он оказался здесь.

Среди синдов Алкимах заметил ещё одного — молодого воина, стоявшего чуть впереди остальных. Он был крепче других, с коротко стриженными тёмными волосами и шрамом через бровь. В руке он сжимал копье, и его взгляд был жёстким — открыто враждебным. Он что-то сказал соседу на своём языке, и тот усмехнулся.

— Это Зарина, — сказал Фокид, кивая на женщину. — Дочь старейшины. Она говорит по-гречески. А тот, с копьём, — Таргитай. Её родственник. Говорят, он не любит греков.

— Я заметил, — ответил Алкимах.

Он шагнул вперёд. Земля под ногами всё ещё дышала. Он чувствовал это. И он знал: это — начало. Начало чего-то, что изменит его жизнь. Навсегда.

Вечером, когда солнце уже клонилось к закату, Алкимах сидел у костра на берегу. Рядом с ним расположились матросы — Феокл, Ликон, Теон. Они молча жевали лепёшки с сыром, запивая их кислым вином. Никто не разговаривал. Все смотрели на деревню синдов, где зажигались огни.

К ним подошла пожилая синдка в длинном сером платье. На руках она несла большой глиняный горшок, от которого шёл пар. Она поставила его перед греками и что-то сказала на своём языке. Зарина, которая стояла неподалёку, подошла и перевела:

— Она говорит, что вы должны поесть с нами. Земля приняла вас, значит, и мы должны принять.

Алкимах посмотрел в горшок. Там была рыба — варёная, с травами, пахнувшая незнакомо, но аппетитно. Он взял деревянную ложку, которую ему протянули, и попробовал. Рыба была пряной, горьковатой, с привкусом трав, которых он не знал. Но она была горячей и сытной.

Он кивнул и сказал по-гречески, глядя на женщину:

— Спасибо. Это хорошо.

Женщина не поняла слов, но поняла жест. Она улыбнулась — беззубо, но тепло — и ушла.

Вскоре к костру подошли другие синды. Они садились на песок, приносили свою еду, молча кивали грекам. Дети подбегали, смотрели на чужаков широко раскрытыми глазами, но не боялись. Один мальчик лет восьми протянул Алкимаху кусок лепёшки. Алкимах взял, надломил и отдал половину обратно. Мальчик улыбнулся и убежал.

Зарина сидела чуть поодаль, наблюдая. Когда Алкимах поднял на неё взгляд, она сказала:

— Ты сделал правильно. Дети здесь — главное. Если ты подружишься с ними, взрослые последуют за ними.

— Я не дружу, — ответил Алкимах. — Я просто ем.

— Это и есть дружба, — сказала она. — Еда. Вместе. Без слов.

Они помолчали. Ветер дул с моря, принося запах соли и дыма. Где-то в степи пела птица — та же, что и утром. Алкимах вдруг понял, что впервые за много дней он не чувствует себя чужим. Он сидит у чужого костра, ест чужую еду, смотрит на чужих людей — и чувствуется почти своим. Почему — он не знал.

Зарина встала, отряхнула платье.

— Завтра я покажу тебе камень, — сказала она. — Настоящий. Не тот, что у воды. Тот, который ждёт.

Она ушла в темноту, оставив Алкимаха у костра. Он смотрел ей вслед, потом снова перевёл взгляд на огонь. Пламя плясало, бросая тени на лица сидящих вокруг. Греки и синды — попеременно. Молча. Вместе.

Он достал амулет и сжал его в ладони. Холодный. Но где-то в глубине уже зарождалось тепло — слабое, едва уловимое, как искра. Он подумал о словах Зарины: «Он ждёт». Камень ждал. Может быть, он тоже ждал. Всю жизнь.

Над костром, на сухой ветке старого дуба, сидела чайка и смотрела на них одним глазом. Она не двигалась, не кричала. Она просто смотрела, как будто знала, что этот вечер — начало чего-то важного.

ГЛАВА 2. ДОЧЬ СТАРЕЙШИНЫ

Зарина проснулась затемно, как всегда.

В доме было тихо — отец ещё спал, его дыхание доносилось из дальней комнаты, тяжёлое, с присвистом. Она лежала на циновке, глядя в потолок, где в щелях между прутьями начинал проступать серый утренний свет. За окном кричали петухи. Где-то скрипнула дверь — соседка вышла за водой. Деревня просыпалась.

Она села, потянулась. Тело ныло после вчерашнего дня — она носила воду, помогала ткать, бегала на берег смотреть на чужаков. Теперь в мышцах сидела усталость, но она привыкла. Она привыкла ко всему — к раннему подъёму, к тяжёлой работе, к тому, что мать не встанет больше никогда.

Она вышла во двор. Утренний воздух был влажным, пахло дымом и росой. Над соседними крышами поднимались первые струйки дыма — женщины разжигали очаги. Дети уже бегали между домами, кто-то нёс корзину с рыбой, кто-то гнал гусей. Обычное утро. Ничего особенного. Кроме того, что на берегу вчера высадились чужаки.

Она пошла к колодцу, набрала воды, умылась. Холод обжёг лицо, прогнал остатки сна. Она постояла, глядя на восток, где небо начинало светлеть. Море было серым и спокойным. На берегу, у самой воды, ещё виднелись следы вчерашнего лагеря — примятая трава, остатки костров.

Их было немного — двенадцать матросов и один грек. Тот самый, который смотрел на неё так, будто она что-то значила. Она не знала его имени. Но она запомнила его глаза. В них не было страха. Было что-то другое — то, чего она не могла назвать.

Она постояла у колодца, глядя на море, и поймала себя на том, что думает о нём. О том, как он стоял на берегу, как сжимал что-то в руке, как смотрел на их землю — не как завоеватель, а как человек, который ищет. Она не знала, почему это привлекло её внимание. Но что-то внутри неё сказало: он не враг. Она не знала, откуда это знание пришло к ней. Но она чувствовала его, как чувствуют тепло земли под ногами.

Отец проснулся, когда солнце уже поднялось над холмами.

Зарина сидела у очага и помешивала кашу. Отец вышел, опираясь на посох — он с каждым годом всё больше сутулился, и его шаги становились тяжелее. Но глаза оставались ясными. Он сел на скамью напротив неё и долго молчал, глядя в огонь.

— Ты видела их? — спросил он наконец.

— Да, — ответила она. — Вчера. На берегу.

— Что ты думаешь о них?

Зарина помолчала, помешивая кашу. Она знала, что отец спрашивает не просто так — он всегда спрашивал, когда хотел знать её мнение. Он учил её думать, хотя многие считали, что женщина не должна думать. «Ты — моя дочь, — говорил он. — Ты должна уметь думать, потому что однажды я уйду, а ты останешься».

— Я думаю, они не враги, — сказала она. — По крайней мере, не все. Грек, который стоял впереди... он смотрел на нашу землю не как на добычу. Он смотрел как человек, который ищет дом.

— Ты уверена?

— Я чувствую, — сказала она. — Он носит амулет. Холодный. Как зима. Но в его глазах я вижу огонь. Я не знаю, хороший ли он. Но он пришёл не для войны.

Отец долго молчал. Потом кивнул.

— Я тоже так думаю, — сказал он. — Но Таргитай — нет. Он уже собрал несколько человек. Говорят, он хочет прогнать их силой. Ты должна быть осторожна.

— Я всегда осторожна, — сказала она.

— Нет, — сказал он, глядя на неё. — Ты не всегда. Ты слишком много смотришь на море. И слишком много мечтаешь. Но иногда мечты — это хорошо. Главное, чтобы они не уводили тебя слишком далеко.

Она ничего не ответила. Она знала, что он прав. Но она также знала, что не может перестать мечтать. Иначе зачем жить?

Она подумала о матери, которая тоже смотрела на море. Которая говорила: «Земля не выбирает, кто на ней живёт. Она просто принимает всех. И мы должны быть как земля». Зарина сжала ложку в руке и почувствовала, как внутри неё что-то дрогнуло. Мать была права. И она хотела быть как земля.

Зарина вышла из дома, когда отец снова ушёл в свою комнату. Она взяла корзину с травами и направилась к холму, где лежал камень предков. Солнце уже поднялось, но здесь, на склоне, было тихо. Ветер шевелил листья старого дуба, и где-то в степи пела птица — та же, что и вчера.

Она подошла к камню и опустилась на колени. Положила на его поверхность свежие цветы — те, что собрала на рассвете. Потом полила их водой из глиняного кувшина. Камень был тёплым. Всегда тёплым, даже в прохладное утро. Она приложила ладонь к его поверхности и закрыла глаза.

— Мама, я снова здесь, — сказала она тихо. — Прошёл год. Отец всё ещё не улыбается. Но я учусь. Я учусь быть как ты. Я учусь слушать. Я слышу ветер, я слышу море, я слышу камень. Но твоего голоса я не слышу. Ты молчишь. Или я не умею слушать?

Она помолчала, чувствуя, как тепло поднимается от камня к её руке. Она знала: камень помнит её мать. Он помнит её руки, её голос, её слёзы. И он помнит её саму.

— Сегодня пришли чужаки, — продолжала она. — Грек смотрел на меня так, будто я что-то значу. Он носит камень — холодный, как зима. Но в его глазах я вижу огонь. Он ищет что-то, как я. Я не знаю, хороший ли он. Но он пришёл. Может быть, камень ждал его. Может быть, ты ждала его. Чтобы через него показать мне что-то.

Она открыла глаза и посмотрела на камень, на цветы. Ветер шевелил её волосы.

— Я не боюсь его, — сказала она. — Я боюсь, что полюблю его. И тогда мне придётся выбирать. А я не умею выбирать. Ты умела. Научи меня.

Она погладила камень, потом встала и пошла вниз, к берегу, где уже просыпался лагерь греков. На камне остались цветы.

Алкимах проснулся от холода и незнакомых звуков.

Ночной ветер с моря принёс сырость, и одежда, в которой он уснул у костра, промокла насквозь. Он сел, растирая замёрзшие плечи. Солнце ещё не взошло, но небо на востоке уже светлело — бледно-розовое, почти прозрачное. Костёр догорел, оставив лишь кучку серого пепла и несколько тлеющих углей. Рядом спали матросы, укрывшись плащами. Где-то в степи пела птица — та же, что и вчера, с резким, гортанным голосом.

Он поднялся и пошёл к воде. Бухта была спокойной — гладкой, как полированный камень. Вода пахла тиной и солью. Он присел на корточки, зачерпнул ладонями, умылся. Холод обжёг лицо, прогнал остатки сна. И в этот момент он почувствовал — слабо, почти незаметно, — что земля под коленями тёплая. Не нагретая солнцем — солнце ещё не взошло. Тёплая изнутри.

Он замер, прислушиваясь к себе. Сердце билось ровно. Дыхание было спокойным. Но тепло не исчезало — оно было там, под поверхностью, глубокое и живое. Он прижал ладони к песку и закрыл глаза. Пульс. Ровный, глубокий, как биение сердца. Не его сердца. Земли. Она дышала. И он дышал в такт.

Он не знал, сколько простоял так. Может быть, минуту. Может быть, дольше. Он просто чувствовал, как земля отвечает ему — не словами, а ритмом. И в этом ритме было что-то, что он искал всю жизнь. Он не знал, что это. Но он знал, что это важно.

— Ты рано встаёшь, — раздался голос сзади.

Алкимах обернулся. Зарина стояла в нескольких шагах — в длинном сером плаще, с корзиной в руках. Волосы её были распущены — тёмные, почти чёрные, волнами спадали на плечи. В утреннем свете она выглядела моложе, чем вчера. И уязвимее.

— Я привык просыпаться рано, — сказал он. — В Милете я вставал затемно, чтобы успеть на рынок.

— Здесь нет рынка, — ответила она, подходя ближе. — Но есть рыба. Хочешь?

Она поставила корзину на песок. Внутри лежала свежая рыба — серебристая, ещё влажная, с красными жабрами.

— Ты ловила?

— Я ходила с отцом. Он любит рыбачить на рассвете. Говорит, что в это время рыба думает меньше и ловится легче.

Алкимах улыбнулся.

— Мудро.

— Он мудрый. — Зарина присела на корточки и начала чистить рыбу — быстро, ловко, привычными движениями. В руке у неё был маленький костяной нож, гладкий от долгого использования — не бронзовый, не греческий. Свой. — Но он не всегда понимает меня.

— Отцам трудно понимать дочерей, — сказал Алкимах. — Особенно когда они хотят того, чего не хотят отцы.

Зарина подняла на него глаза.

— А ты понимаешь?

— Я пытаюсь.

Она усмехнулась — коротко, почти без улыбки.

— Ты странный грек. Большинство из вас не пытаются. Они просто говорят и ждут, что их послушают.

— Большинство греков глупы, — сказал Алкимах. — Я тоже был глупым. Но я пытаюсь исправиться.

Она посмотрела на него дольше, чем нужно. В её взгляде было что-то — любопытство, недоверие, может быть, надежда. Она не знала, что чувствует к этому чужому человеку. Но она знала: он не похож на других греков, которых она видела раньше. В нём не было высокомерия. Было что-то другое — уязвимость, которую он пытался скрыть.

Зарина покачала головой, но ничего не ответила. Она быстро разделала рыбу, выбросила внутренности в воду и протянула ему кусок сырого филе.

— Ешь. Здесь так принято.

Алкимах взял рыбу. Она была холодной, но не противной — свежей, почти сладкой на вкус. Он жевал и смотрел на неё. На её руки — быстрые, сильные, покрытые мелкими царапинами и ссадинами. На её лицо — спокойное, но с лёгкой морщинкой между бровей, которая появлялась, когда она думала о чём-то важном.

— Твоя мать жива? — спросил он.

Зарина помолчала. В её глазах мелькнула тень.

— Она умерла, когда мне было двенадцать. Лихорадка. Отец лечил её травами, но не помогло. После её смерти он перестал улыбаться. Иногда я смотрю на него и вижу её — в его глазах, в его молчании. Он носит её в себе, как ты носишь этот амулет.

— Что она была за человек?

Зарина посмотрела на море. Ветер шевелил её волосы.

— Она была сильной, — сказала она. — Она научила меня, что женщины могут быть не только матерями. Что мы можем говорить с камнем. Что мы можем выбирать. Она говорила: «Земля не выбирает, кто на ней живёт. Она просто принимает всех. И мы должны быть как земля».

— Она была мудрой.

— Она была моей матерью, — сказала Зарина. — Я не знаю, была ли она мудрой для других. Но для меня — да.

Она замолчала. Алкимах не нарушал тишину. Он смотрел на неё и думал о том, что впервые за долгое время он чувствует, что его понимают. Не словами. Чем-то другим.

— Ты сказала, что покажешь мне камень, — напомнил он.

— Да. — Она вытерла руки о траву и встала. — Идём. Пока отец не проснулся и Таргитай не начал задавать вопросы.

Они пошли на восток, вдоль берега, мимо рыбацких лодок и сетей, растянутых на кольях. Утро было ясным, море спокойным. Зарина шла быстро, не оборачиваясь. Алкимах едва поспевал за ней.

Они прошли через деревню, которая только просыпалась. Женщины уже разжигали очаги, дети бегали с корзинами, старики сидели у стен и грели руки на солнце. Кто-то смотрел на Алкимаха с любопытством, кто-то — с настороженностью. Он чувствовал их взгляды на своей спине. Но он не оборачивался.

— Твои люди боятся меня, — сказал он.

Зарина остановилась, повернулась к нему.

— Они боятся не тебя, — сказала она. — Они боятся того, что ты можешь принести. Они уже теряли свой дом. Они не хотят потерять его снова.

— Я не хочу отнимать у них ничего, — сказал он. — Я хочу построить рядом с ними. Не вместо них.

Она посмотрела на него долгим взглядом. Потом кивнула — коротко, почти незаметно.

— Я знаю, — сказала она. — Но они не знают. И Таргитай не знает. Ты должен показать им.

Они вышли из деревни и пошли вверх по склону, туда, где среди холмов поднимался старый дуб. Тропа здесь была узкой, каменистой, и Алкимах несколько раз споткнулся, но Зарина шла ровно, не замедляясь.

— Твой отец не хочет, чтобы я видел камень? — спросил он.

— Он не против. Но Таргитай — против. Он считает, что ты осквернишь его.

— Я не собираюсь ничего осквернять.

— Я знаю. Но Таргитай не знает. И он боится.

— Чего?

Зарина остановилась и повернулась к нему. В её глазах была та же напряжённая внимательность, что и вчера.

— Он боится, что ты отнимешь у него то, что он считает своим. Землю. Камень. Нас. Синдов. — Она помолчала. — Его отец погиб от рук греков. Таргитай нёс его тело три дня. С тех пор он считает, что все греки — враги. И он боится, что если я покажу тебе камень, ты станешь частью нас. А он не хочет делить нас с чужаками.

— Я не хочу отнимать у него ничего, — сказал Алкимах. — Я хочу построить рядом с вами. Не вместо вас.

— Я знаю, — сказала она. — Но Таргитай не знает. И он никогда не поверит, пока не увидит что-то, что заставит его поверить.

— Что может заставить его поверить?

Зарина посмотрела на него долгим взглядом.

— Ты покажешь ему, что ты не враг. Что ты готов платить. Не золотом — временем. Терпением. Жертвой.

Она повернулась и пошла дальше.

Они поднялись на холм у восточного края бухты, там, где позже вырастет городская стена. У подножия холма, в тени старого дуба, лежал камень.

Он был меньше того, огромного, у воды — по пояс человеку, тёмный, почти чёрный, с гладкой поверхностью. Вокруг него земля была утоптана — сюда часто приходили. На камне лежали свежие цветы — полевые, ещё не завядшие. Рядом стоял маленький глиняный сосуд с водой и несколько зёрен — жертва, которую оставили утром. Зарина присела на корточки и поправила цветы, словно это был ритуал, к которому она привыкла с детства.

— Мы не молимся камню, — сказала она, не оборачиваясь. — Мы просто приходим к нему. Мы приносим ему то, что есть у нас. Цветы. Воду. Зёрна. Мы говорим ему о своих умерших. И он слушает.

Алкимах подошёл ближе. На поверхности камня он заметил едва различимый узор — несколько тонких линий, вырезанных в камне. Стебель, поднимающийся вверх, и шесть лепестков, расходящихся в стороны. Цветок. Он хотел спросить, что это значит, но Зарина уже встала и отошла в сторону.

Он приложил ладонь к камню. Камень был тёплым. Не нагретым солнцем — солнце ещё не коснулось этого места. Тёплым изнутри. Таким же тёплым, как земля у воды. Таким же живым.

Он закрыл глаза и прислушался к себе. В первые мгновения ничего не происходило. Потом он почувствовал — слабо, едва уловимо, — как тепло поднимается от камня к его руке. Оно не было жарким — оно было ровным, спокойным, как дыхание спящего. И в этом тепле он почувствовал что-то ещё. Присутствие. Как будто кто-то стоял рядом с ним, невидимый, но реальный. Он не знал, кто это был — его мать, предки синдов, или сам камень. Но он знал: оно было здесь. Оно ждало его.

— Это камень предков, — сказала Зарина. — Он лежит здесь всегда. До нас. До наших дедов. До всех. Мы приходим к нему, когда умирает кто-то из рода. Он принимает души.

Алкимах вспомнил, что говорила Зарина вчера. «Он ждёт».

— Чего он ждёт? — спросил он.

— Не знаю. Старики говорят — он ждёт, когда придёт кто-то, кто поймёт его. Может быть, ты поймёшь.

Алкимах смотрел на камень. Он был древним — старше синдов, старше греков, старше всех, кто жил на этой земле. И он был тёплым. Как будто ждал именно его.

Он подумал о матери. О том, как она смотрела на него перед смертью. О том, как она сказала: «Он вернёт тебя обратно». Теперь он начинал понимать, что она имела в виду. Он вернулся не в Милет. Он вернулся к себе.

Он снова достал амулет и приложил его к тёплому камню. На мгновение ему показалось, что амулет дрогнул. Не физически — а как будто внутри него что-то шевельнулось. Холод, который он носил в себе столько лет, стал чуть мягче. Как будто камень сказал: *«Я узнаю тебя. Ты носишь меня внутри себя. Я ждал, когда ты придёшь»*.

Зарина заметила его жест.

— Что это?

— Амулет, — сказал он. — Он принадлежал моей матери. Она дала его мне перед смертью. Сказала, что он вернёт меня обратно.

— Вернул?

— Я не знаю. Я ещё не понял.

Она подошла ближе и протянула руку. Алкимах, помедлив, положил амулет ей на ладонь. Она сжала его, закрыла глаза.

— Он холодный, — сказала она. — Но в нём есть что-то ещё. Что-то, чего я не понимаю. Как будто он ждёт, когда его согреют.

Она открыла глаза и посмотрела на Алкимаха.

— Как этот камень. Как ты.

Она вернула ему амулет. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Алкимах почувствовал, как её рука — тёплая, живая — накрыла его холодную ладонь. Она не отдернула руку сразу. Поддержала чуть дольше, чем нужно.

— Твоя жена, — сказала она. — Ты говорил о ней. Ты оставил её в Милете?

— Да.

— Почему?

Алкимах посмотрел на камень. На тёплый, дышащий камень. Потом на свои руки, всё ещё холодные.

— Потому что я не знал, кто я. И я боялся, что если останусь — никогда не узнаю.

— А здесь ты узнаешь?

— Я надеюсь.

Она посмотрела на него долгим взглядом. В её глазах было что-то, чего он не мог прочитать — любопытство, печаль, может быть, узнавание. И вдруг он понял: она тоже ищет. Она не просто дочь старейшины, не просто хранительница традиций. Она тоже хочет понять, кто она. И он, этот чужак, почему-то стал частью этого поиска.

— Ты сказал, что ищешь место, где можешь быть собой, — сказала она. — Я тоже ищу. Только я не знаю, где оно. Может быть, оно здесь. Может быть, его нет нигде. Но когда я смотрю на тебя, я чувствую, что я ближе к нему, чем когда-либо.

Он смотрел на неё, и в этом взгляде было что-то, что не требовало слов. Только тишина. Только тепло камня под рукой. Только ветер, который дул с моря.

Они пошли обратно, вниз по холму. Алкимах шёл за ней и думал о том, что впервые за много лет чувствует себя не чужим. Чужим был Милет. Чужим был дом, в котором он жил. Чужим была жена, которую он любил, но не понимал. Здесь, в этой земле, пахнущей полынью и дымом, он чувствовал себя почти своим. Почему.

У подножия холма Зарина остановилась.

— Я скажу отцу, что ты хочешь строить. Что ты готов работать. Что ты не враг.

— Спасибо.

— Не благодари меня, — сказала она. — Я делаю это не для тебя. Я делаю это для камня. Но, может быть, я ошибаюсь. И делаю это для себя.

Она повернулась и пошла в сторону деревни, не оборачиваясь. Алкимах остался стоять у холма. Солнце поднялось выше, и тени стали короче. Чайка сидела на сухой ветке старого дуба и смотрела на него одним глазом.

— Ты всё видишь, — сказал он ей. — А я пока не вижу. Но я научусь.

Чайка не ответила. Просто смотрела.

Он пошёл обратно к лагерю. По пути он снова достал амулет. Камень был холодным. Но когда он сжал его в ладони, ему показалось, что тепло — слабое, едва уловимое — начало зарождаться где-то в глубине. Как искра, которую нужно раздуть. Как обещание, которое нужно исполнить.

Он убрал амулет за пазуху и пошёл дальше. И, может быть, впервые за долгое время, он чувствовал, что идёт не прочь от чего-то, а к чему-то.

Над его головой, на ветке старого дуба, сидела чайка и смотрела ему вслед. Она не кричала, не двигалась — просто смотрела. Как будто знала, что этот день — начало чего-то большего. И она была права.

ГЛАВА 3. КАМЕНЬ И КРОВЬ

Алкимах не спал.

Он лежал на циновке в своём временном убежище — палатке из парусины, натянутой между двумя вёслами. Вокруг спали матросы, их дыхание было ровным, иногда кто-то всхрапывал. Но Алкимах смотрел в темноту и не мог закрыть глаз.

Он думал о Зарине. О том, как она смотрела на него у камня. О том, как её рука коснулась его руки. О том, что она сказала: «Ты должен показать им, что ты не враг. Что ты готов платить».

Он думал о Милете. Об отце, который смотрел на него с презрением. О матери, которая ушла, оставив ему холодный камень. Об Эвридике, которая ждала его у окна. Он оставил их всех. Он оставил себя.

Он сжал амулет в ладони. Холодный. Он всегда был холодным, сколько Алкимах себя помнил. Но в последние дни он начал чувствовать — слабо, едва уловимо, — что холод становится чуть мягче. Как будто лёд начинал таять. Или как будто рука привыкла к нему.

— Что мне делать? — прошептал он в темноту. — Я не знаю, кто я. Я не знаю, зачем я здесь. Но я знаю, что не могу уйти. Я должен остаться. Я должен стать частью этого места. Но как?

Амулет молчал. Но где-то в глубине, под холодом, он чувствовал искру. Ту самую, которую Фокид заметил на корабле. Она была слабой, почти невидимой, но она была.

Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, час. Может быть, два. Он просто лежал, сжимая амулет, и ждал утра.

Над палаткой, на мачте, сидела чайка и смотрела на море одним глазом.

На рассвете Алкимах встал. Он не спал, но чувствовал себя странно ясным — как будто внутри что-то прояснилось. Он вышел из палатки и посмотрел на море. Солнце только поднималось, окрашивая воду в золото и медь. Бухта была спокойной, как в первый день.

Он обошёл берег и холмы, прислушиваясь к себе. Он искал место, где земля отзовется. Не просто удобное — правильное. Где он сможет пустить корни.

Он выбрал западный склон холма — оттуда было видно и море, и бухту, и камень предков под дубом. Он не хотел строиться слишком близко к святыне синдов, но и не хотел уходить далеко. Что-то держало его рядом. Что-то, чего он не мог назвать словами.

Он постоял на склоне, чувствуя, как ветер холодит лицо. Земля под ногами была тёплой — не от солнца, солнце ещё не нагрело её, а изнутри. Он снял сандалии и ступил босыми ногами на траву. Трава была жёсткой, сухой, но под ней — тепло. Он закрыл глаза и прислушался к себе. Пульс. Ровный, глубокий. Он вспомнил свой сон — тот самый, где камень звал его. Он чувствовал его и сейчас. Он был здесь.

— Здесь, — сказал он вслух. — Я буду строить здесь.

Утром он взял лопату и пошёл на холм. С ним были Фокид и двое матросов — те, что согласились помочь. Остальные остались в лагере — чинить сети, разгружать амфоры, ждать. Ждать, что скажут синды. Ждать, что решит старейшина. Ждать, что случится.

Земля на склоне была твёрдой, каменистой. Лопата с трудом входила в грунт, и уже через час руки Алкимаха покрылись мозолями. Он не жаловался. Он работал молча, и только иногда, выпрямляясь, чтобы перевести дух, смотрел на море и на бухту, где утренние лучи золотили воду.

Фокид работал рядом. Старый моряк тяжело дышал, но не отставал.

— Ты уверен, что хочешь строить здесь? Место хорошее, но камень тяжёлый.

— Я знаю, — ответил Алкимах. — Но я хочу, чтобы дом был здесь.

— Почему?

Алкимах помолчал. Он смотрел на море. На чаек, кружащих над водой. На дым, поднимающийся над деревней синдов. Он думал о том, как объяснить Фокиду то, чего сам не понимал до конца.

— Потому что я чувствую, — сказал он наконец. — Здесь я чувствую.

Фокид ничего не ответил. Он просто кивнул и продолжил копать.

Ардарак следил за ними с холма.

Он стоял у старого дуба, опираясь на копьё, и смотрел, как греки копают землю. Его лицо было непроницаемым, как камень, на который он опирался. Он не знал, зачем пришёл сюда. Может быть, чтобы проверить — не осквернят ли они священное место. Может быть, чтобы убедиться, что они не строят дом на том месте, где лежит камень предков.

Он видел, как грек, тот самый, что говорил с Зариной, выпрямился и посмотрел на море. Он видел, как тот вытер пот со лба. Он видел, как тот взял лопату и снова начал копать — упрямо, не останавливаясь.

Ардарак не знал, что чувствует. Он должен был ненавидеть этого человека. Он должен был видеть в нём врага, как видел всех греков. Но что-то в этом чужаке было другим. Он не требовал — он просил. Не брал — предлагал.

Он вспомнил брата. Аора. Того, кто умел слушать камень. Того, кто говорил: «Если ты не уважаешь камень, он не подчинится тебе». Он вспомнил, как брат работал в каменоломне, как его руки касались серого песчаника. Как он улыбался, когда камень поддавался. Он сжал копьё и почувствовал, как дерево нагревается от его руки. И в этом тепле он почувствовал что-то, чего не ожидал. Уважение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.